





ТРИ МЕСЯЦА И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

— Сколько мне осталось?

Я постаралась, чтобы голос звучал как можно спокойней, в конце концов, врач ни в чем не виноват, истерика бессмысленна, эту битву я проиграла.

— Не более трех месяцев. Сожалею, мы ничего не можем поделать... Четвертая стадия... Никто не может.

— Три месяца? Не слишком щедро, нужно поторопиться, чтобы успеть.

— Что успеть, мадам?


— Вспомнить всю свою жизнь, доктор. У меня была замечательная жизнь, я встречалась со столькими талантливыми людьми. Трех месяцев, чтобы с благодарностью подумать о каждом, пожалуй, маловато... Но если вы обещаете только три... не буду терять время.

Я от души улыбнулась. Ответная улыбка была кислой.

Мне действительно нужно многое вспомнить и многих мысленно поблагодарить.

Разве можно в последние часы не думать о своих сыновьях, о Робе, о друзьях, обо всех, ради кого много лет ездила по миру...



 *Одри Хепберн*

Я была счастлива и прежде чем уйти, хочу еще раз мысленно прожить столько чудесных мгновений. Я успею это сделать, хотя три месяца для целой жизни ничтожно мало...

Операция оказалась бесполезной, она лишь ненадолго продолжила мою жизнь, подарила немного времени, может, для того, чтобы я успела отдать дань всем, кто жил и любил меня, и всем, кто еще будет жить после моего ухода, надеюсь, здорово и счастливо.



У ВСЕХ ЕСТЬ ДЕТСТВО

Только не у всех одинаковое...

Какие праздники люди любят больше всего? Дети, конечно, Рождество и свой день рождения. Я тоже. Став мамой, полюбила дни рождения своих обожаемых мальчиков.

Это был самый грустный день рождения в моей жизни.

Мама с отцом уехали, кажется, в Мюнхен, и я очень переживала, вернутся ли вовремя. Когда стало ясно, что нет, няня попыталась успокоить (лучше бы она этого не делала!):

— Просто их задержали важные дела. Взрослых часто задерживают дела. Они непременно пришлют тебе поздравление и подарок!

Я схватилась за эту спасительную мысль: конечно, конечно, их задержали дела, но родители обязательно пришлют мне весточку, ведь они меня любят, я знаю!

Утром никакого сообщения не было, няня снова успокоила:

— Одри, почтальон еще не приходил.



Кажется, я весь день просидела у окна в ожидании почты. Когда показалось, что почтальон идет, со всех ног бросилась к двери, чтобы открыть сразу, как только раздастся стук в нее, но...

— Он... прошел мимо?..

Няня уже осознала свою ошибку и теперь пыталась что-то исправить.

— Одри, может быть, письмо случайно положили не в тот ящик... может, просто что-то напутали на почте...

Я бросилась обуваться.

— Надо идти!

— Куда?

— На почту! Там должны разобраться.

— Имей терпение. Если письмо задержалось, его просто нужно дождаться, у почты много других писем. Ты же помнишь, что всегда говорит твоя мама: нужно думать прежде всего не о себе, а о других.

Это была правда, мама учила меня думать сначала о других. Я со вздохом согласилась:

— Да, наверное, у почты слишком много других, более важных писем...

О подарке речь уже не шла.

Письма так и не было, из-за дел в Мюнхене родители просто забыли о моем дне рождения, но я предпочитала думать, что письмо затерялось.

Всю ночь я пролежала без сна, пытаюсь понять, чем я могла их так рассердить, что они забыли о своей дочери. Я уже не лазила по деревьям вместе с братьями (просто потому, что они уехали учиться), не таскала из колясок чужих младенцев, чтобы покачать их на руках, не тащила в дом каждого встречного котенка или щенка, не приставала к собакам в попытке погладить, не тискала до бессознательного состояния своего кролика, таким образом выражая ему свою любовь... Я уже была хорошей,



послушной девочкой, но что-то все равно не так, если я маме с папой не нужна.

Стало страшно, очень страшно: а что, если я не нужна совсем?!

— А вдруг родители не вернуться?

— Что ты говоришь? Как они могут не вернуться?

— Что, если они не захотят возвращаться к непослушной девочке?

— Одри, я завтра же отправлю им письмо с сообщением, что ты стала очень послушной.

— Напиши, пожалуйста! Напиши!

Едва разлепив глаза на следующее утро, пристала к няне:

— Написала?

Родители приехали, но даже упоминания о забытом поздравлении не было, я сразу поняла, что что-то не так, они почти не разговаривали друг с другом. И что случилось, тоже не рассказывали.

Когда отец вдруг ушел, мне было всего шесть. Это случилось довольно скоро после того самого несчастливого дня рождения.

Конечно, я понятия не имела, куда и зачем родители ездили, политические игры не для шестилетних девочек, я знала одно: мама и папа забыли о моем дне рождения, а еще, что после возвращения ссоры в нашем доме стали постоянными. Теперь я уже не сидела под обеденным столом во время скандалов, как раньше, потому что слышать крики родителей была не в состоянии, я стала убежать и прятаться, закрыв уши.

Делать это пришлось недолго. Однажды папа ушел. Он кричал, что так жить не может, мама отвечала тем же. Я не понимала слов «альфонс» и «подлец», но понимала, что это очень плохо, и знала только одно: мама тоже не хотела, чтобы он уходил, ругала папу, но не хотела!



Одри Хепберн

— Папа, не уходи! Папа, я люблю тебя!

Он даже не оглянулся, ему было все равно.

Мама коротко приказала:

— Прекрати унижаться!

Я замолчала, хотя слезы все равно текли ручьем.

— Я... я просто не хотела, чтобы он уходил. Я хочу, чтобы он любил нас.

— Любовь нельзя вымалывать, она либо есть, либо нет.

И я, шестилетняя, поняла и навсегда запомнила — любовь не выпрашивают, это подарок небес, которого может и не случиться.

Через много лет я поняла и то, почему родители ссорились, и куда ездили, и в чем мама обвиняла отца. Однажды во время оккупации она резко бросила в сторону колонны оккупационных войск, марширующих по городу:

— Вот с кем дружит твой отец!

Сказала и забыла, а я никак не могла поверить: папа и фашисты?! Нет, этого не могло быть!

Ты скрывала все много лет, в том числе и собственное сотрудничество с Британским союзом фашистов — организацией Освальда Мосли, хотя быстро сумела с ними порвать. Это «дно» ты имела в виду, мама? Именно туда попал в конце концов отец? Когда я задала ему такой вопрос после войны в Дублине, он не ответил. Ты научила меня скрывать прошлое, хотя в моем не было ничего предосудительного, разве я виновата, что, когда мне было шесть, родители ездили в Мюнхен, чтобы пообедать с Гитлером? Не наедине, в числе большой компании сторонников Британского союза фашистов, но ведь с Гитлером!

Ты права, одно лишь подозрение, что родители могли в таком союзе состоять, испортило бы мою жизнь.



Я не осуждаю, наверное, для вас нашлось что-то притягательное в идеях Мосли и союза, я знаю другое: во время оккупации ты активно помогала Сопротивлению.

Но тогда, в 1935 году, мне было все равно, кому вы сочувствуете, я страдала. Папа уехал и не обещал вернуться, как делал раньше, а ты много плакала, скрывая свои слезы от всех. Как мне хотелось стать такой же сильной, научиться делать вид, что неприятностей просто не существует, но у меня не получалось.

Я уже знала, что отец ушел не из-за меня, но переживала, что не могла его удержать.

— Папа, не уходи!

Но он ушел. И вот тогда я испугалась, что уйти можешь и ты тоже, а я останусь совсем одна в этой жизни!

Это невыносимо страшно для шести лет — испугаться, что останешься одна! Надо мной смеялись, говорили, что я к тебе приклеена. Это действительно было так, но на сей раз ты не сердилась и даже не возражала. Мы жили, словно чувствуя свою вину друг перед дружкой. Я боялась хоть в чем-то перед тобой провиниться, а ты старалась научить меня как можно большему, а еще воспитать устойчивость к любым жизненным ситуациям.

Мама научила меня всему — рисовать и читать, любить книги и быть старательной, сдерживать эмоции и думать прежде о других, а потом о себе, научила быть доброжелательной даже тогда, когда хочется выть волком, научила трудиться, а еще — не сдаваться и не опускать руки.

Сейчас я понимаю, что самым тяжелым для нее было уберечь меня от разочарования в отце. Мама не хотела, чтобы я считала себя дочерью фашиста или никчемного человека, а потому предпочитала казаться жестокой и несправедливой в моих глазах, только чтобы не допустить меня к тесному общению с от-



цом. Она догадывалась, что я ему не нужна, что получу страшную травму, если попытаюсь его разыскать?

— Я хочу найти в Англии отца...

— Зачем?

— Но ведь он мой папа...

— Одри, у Джозефа может уже быть другая семья, и им не понравится появление его дочери.

Это горько, очень горько — сознавать, что отец мог забыть обо мне только потому, что у него новая семья. Они еще не были разведены, но я знала, что вторые семьи бывают и у женатых мужчин.

— Я не буду мешать этой семье, я не приду к ним в дом. Я просто хочу, чтобы папа навещал меня.

— Не думаю, что это хорошая мысль.

Мне казалось, она так говорит из ревности, а мама просто старалась оградить меня от еще большего разочарования, если отец не станет видеться со мной часто. Так и произошло, но я все равно разыскала его, и от огорчения уберечь меня не удалось.

Перед самым началом Второй мировой войны мама вдруг забрала меня из пансиона, вернула домой моих братьев Александра и Яна и перевезла всех в Голландию, в Арнем, неподалеку от которого было имение дедушки — Вельпе. Этот переезд, пожалуй, определил наши судьбы. Иногда я думала, что было бы, переберись мы все вместе в Англию. Но тогда казалось, что Англия — главная цель для Германии, ей достанется больше всего. Нейтральной Голландии, находившейся под боком у воинственной Германии, но тесно связанной с ней тысячами кровных уз, множеством работавших там людей, бояться нечего.

Я никогда, и став совсем взрослой, даже мысленно не обвиняла маму в этом переезде. Во-первых, никто не мог знать, что немцы захватят нейтральную Голландию, во-вторых, ожидать,



что она падет через пять дней. Но главное, кто в 1940 году мог ожидать ужас голода 1944 года? Германия жила хорошо, никто не думал, что оккупанты превратят нашу жизнь в настоящий ужас.

Книга Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» начинается с фразы «Меня всегда тянет к тем местам, где я когда-то жил, к домам, к улицам».

А меня тянет? Пожалуй, да.

Но есть места особенно дорогие — те, где мы боролись не только за радость и благополучие, а и за саму жизнь.

В Арнеме мне очень понравилось. Я помнила мамины рассказы о большом родительском доме, о красоте самого города, о том, какие там замечательные парки и фонтаны... Меня больше привлекали театры и концертные залы, к тому же было обещано, что я буду учиться танцу в Арнемской консерватории. Дом действительно оказался большим и красивым, а родственники добрыми. Особенно я любила дядю Уильяма, добрейшей души человека. За те недолгие месяцы, которые прожила с ним рядом, дядя на всю жизнь привил мне ненависть не просто к войне, а к насилию.

В тишине и спокойствии прошли полгода, и только в мае стало ясно, что война не где-то там, а прямо в Арнеме.

Детство закончилось вдруг под грохот танков на тихих улицах Арнема.

Война научила меня многому, хотя куда лучше было бы учиться в мирной жизни.

Немцы очень быстро смогли справиться с Голландией, меньше пяти дней длились военные действия, после того как был разбомблен и сожжен Роттердам, Голландия капитулировала, а королева и правительство улетели в Англию. Они улетели, а мы остались...



Мама пришла в мою комнату рано утром, резким движением отдернула шторы и почти приказала:

— Вставай! Началась война!

Я хотела спросить: «А разве она уже не идет?», но услышала металлический лязг с улицы и поняла, что теперь война пришла на улицы города.

Но ребенку в одиннадцать лет трудно до конца осознать, что несет появление на улицах города солдат в чужой форме и с оружием. Кажется, даже страшно в первые дни не было, скорее любопытно.

Довольно скоро любопытство сменилось опасением. Нас выселили из своих комнат в пристройку для прислуги, мама сказала, что это еще хорошо, могли бы оставить просто на улице. С этих слов началась моя учеба, странная учеба — я училась новой жизни, вернее, училась выживать в любых условиях, училась тому, что в мире есть несправедливость куда страшней ухода отца из дома. Эта несправедливость касалась самой возможности жить, потому что очень скоро стало ясно, что за любое сопротивление следует жестокое наказание. Пока ты подчиняешься и принимаешь все с покорно опущенной головой, у тебя есть шанс уцелеть, если, конечно, не попадешь в облаву или заложники, которые своими жизнями расплачиваются за какой-то акт возмездия.

Когда я осознала, что выжить можно, только притаившись, как мышка в норке, стало страшно — а вдруг это на всю жизнь? Помнишь, я задала тебе такой вопрос, мол, как надолго немцы в городе? Ты заволновалась, попросила не только не спрашивать, но и не думать об этом, чтобы случайно не проболтаться.

Вот тогда я испугалась по-настоящему. Даже потом, когда относилась передачу английскому летчику, что прятался в лесу, и попала немечкому патрулю, так не боялась. Может, просто не успела испугаться, присела перед немцами, словно изображая



балетный поклон, протянула собранные в лесу цветы и пошла дальше на негнущихся ногах...

А после такой просьбы стало страшно, потому что даже мама, такая решительная, всегда презиравшая неприятности, теперь не могла их не замечать. Это означало, что неприятности слишком велики и надолго. Кажется, я подумала: «Только бы не навсегда!» Никто не мог ответить, так это или нет.

К жизни в униженном положении привыкнуть нельзя, пока ты человек, ты будешь сопротивляться, если только привыкнешь, превратишься в животное. Но даже гордое животное не позволит себя унижать. И привыкнуть к тому, что нужно время от времени сдавать отпечатки пальцев, что тебя, как преступницу, фотографируют в фас и в профиль, что нужно то и дело менять удостоверения личности, получать карточки на питание... невозможно. Мы хотели жить свободно, спокойно ходить по улицам, не боясь окрика военных или полиции, покупать продукты, на какие хватит заработанных денег, не бояться пригласить гостей в дом и не занавешивать как можно плотней окна, чтобы свет не пробивался на улицу.

А многие хотели просто жить, но у них отняли и эту возможность.

Мама не виновата, что мне пришлось пройти вот такую школу, она сама проходила эту страшную школу вместе со мной.

Зато после войны могли смело смотреть в глаза остальным, потому что помогали Сопротивлению, потому что были как все.

Для меня самой трудной в первые месяцы оккупации, пока еще не стало совсем уж голодно и я еще могла брать уроки танцев, оказалась необходимость скрывать, что я имею английские документы, что у меня английское имя и отец в Англии. Тогда я стала вместо Одри Эддой и вынуждена разговаривать только понидерландски.

